



АНДРЕЙ УБОГИЙ

ANAMNESIS MORBI, ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Путешествий за жизнь накопилось немало: каждый год доводилось куда-нибудь съездить, сходить или сплавать. Но случилось, что из-за проблем с позвоночником я сделался «невыездным». Какие уж там рюкзаки и байдарки, когда и самого-то себя я носил еле-еле?

Но, когда уж совсем загрустил, я подумал: а разве болезнь — это не настоящее путешествие? Разве те перемены пространства и времени, и тебя самого, что случаются в ходе болезни, не стоят того, чтоб их вспомнить и описать?

Зачем, в конце концов, мы путешествуем? Ведь не только затем, чтоб сменить декорации жизни; путешествуем мы для того, чтоб на фоне переменившейся вокруг нас обстановки встретить самих же себя. Что останется в нас, в наших душах, когда поменяются и пейзаж за окном поезда или автомобиля, и язык, на котором с тобой говорят, и те блюда, которыми потчуют гостя? В конце концов, цель наших странствий — мы сами; заберись хоть на Эверест или Северный полюс: пока не найдёшь там, не встретишь себя самого — всё будешь считать путешествие неудавшимся, незавершённым.

Конечно, есть путешественники, стремящиеся не столько обрести самих себя в странствии, сколько, напротив, забыть в калейдоскопе новых стран, городов и людей и, таким образом, от самих же себя отдалиться. Когда человек не выносит себя самого, он может впасть в дромоманию, страсть к перемене мест; но разговор о причинах и следствиях этой измены себе самому завёл бы нас слишком уж в сторону: возможно, что и Агасфер, Вечный Жид возник бы тогда в поле нашей беседы...

Предыстория такова. Большой любитель лыж, я и десятилетнюю дочку Дашу стал приучать к этому делу. Ей лыжи сразу понравились, и она так ухватисто, ловко бежала за мной по лыжне, словно не первый сезон уж стояла на лыжах.

А март выдался — будто специально для лыжников! В ночь подморозит, днём разогреет, да ещё чуть подсыплет ночного снежку — и лыжня по утрам была словно припудрена снежным искрящимся пухом. Скольжение было отменным, и мы с женою и дочкой убегали порой далеко: не хотелось сворачивать к дому. Докатали как-то аж до Городни, где сохранилось имение Натальи Петровны Голицыной, послужившей Пушкину прототипом Пиковой Дамы. Да и денёк был пушкинский: «Под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит», — а дом Пиковой Дамы розовеет вдали, среди чернеющих лип...

На обратном пути Даша устала. Несколько раз она падала, рукавицы и шапка уж были мокры, и лицо девочки выражало страдание: «Да когда ж, наконец, мы доедем до дома?»

И я решил взять её на буксир — точно так же, как когда-то меня, семилетнего, тащил по лыжне мой отец. Сцепил две лыжных палки, подал один конец дочери, за другой взялся сам — и мы покатали.

Я бежал быстро, отведя руку с палкой-буксиром назад, и чувствовал, как мой позвоночник похрустывает от такой напряжённой и скрученной позы. Но ещё не угасший спортивный азарт и, главное, радостный смех моей Даши, которой буксир очень нравился, — это всё не давало остановиться.

Пробежав так около километра, пришлось всё-таки прекратить буксировку, потому что я чувствовал: с позвоночником что-то не то. До дома ещё кое-как докатил, переоделся и полежал на полу. Боль вроде стихла, и я решил: обошлось.

Но на самом-то деле всё только начиналось. Среди ночи я проснулся от сильной и нарастающей боли в спине, ягодице и левом бедре. Боль по характеру напоминала сильную судорогу; только, в отличие от судороги обыкновенной, она не прошла за минуту-другую, а длилась и длилась.

Что было делать? Ну, покатался я по полу, порычал-постонал — с одной стороны, опасаясь будить, беспокоить домашних, а с другой понимая, что одному мне не справиться. Казалось, катался я долго, — на самом же деле прошло минут пять.

Проснулась жена.

— Что с тобой?!

— Не знаю, — процедил я сквозь зубы. — Наверное, нерв ущемился...

Лена сделала мне укол обезболивающего — но это была, что называется, мёртвому припарка. Боль чуть затихла минут на семь-восемь, а потом навалилась с новой силой: как будто укол её лишь раззадорил.

— Вызывай, Лена, «скорую», — сдался я.

Бригада приехала быстро, минут через двадцать. Медиков, одетых в синюю униформу, я встретил, лёжа на полу: о приличиях как-то не думалось.

— Что с вами, коллега? — присев рядом со мною на корточки, осведомилась женщина-доктор.

— Видимо, грыжа диска с компрессией нерва, — собрал я остатки врачебных, куда-то враз испарившихся, знаний. — Болит очень сильно...

— Я вижу, — сказала с сочувствием доктор.

— Сделайте, если можно, укол посильнее — и везите в больницу.

Неожиданно, прямо скажем, началось моё путешествие: мартовской ночью, на жёстких холодных носилках «УАЗа», который, лязгая и громыхая, катил по пустынной Калуге, а я, чтоб отвлечься от боли, старался представить: какой перекрёсток, какой поворот мы сейчас проезжаем, и скоро ли — Господи, хоть бы скорее! — больница?

Так я стал пациентом неврологического отделения. Больница, где я оказался, в позапрошлом веке была известна как Хлюстинская богадельня. Она и сейчас оставалась, по сути, заведением «Бога для»: приютом измученных и несчастных людей. В неврологии лежало много стариков и старух, перенёсших инсульт: или совсем бездвижных, или хромающих еле-еле, по стеночке. На грубом, но точном медицинском жаргоне таких больных называют «валежником». Словно деревья в лесу, они уже отстояли свой век и рухнули, но жизнь ещё теплилась в них, и Хлюстинская больница старалась, по мере возможностей, эту жизнь поддержать.

«Пациент», в переводе с английского, означает «терпеливый». В самом деле, терпеть было главной работой в больнице. Терпеть боль и тоску, морщиться от уколов и рук массажистки и, главное, терпеть собственную телесную немощь, столь пока непривычную.

Тяжелее всего была первая ночь. Не раз вспоминал я испанскую поговорку «День бел, ночь черна». Да, ночь черна — так черна, что не видно просвета ни в ней, ни в той боли, с которой даже укол промедола справлялся минут на двадцать. Ни лежать, ни сидеть я не мог; боль немного стихала, лишь когда я ходил. Вот и приходилось ночь напролёт ходить по больнице, по гулким, ночным, бесконечным её коридорам.

Василий Великий молился: «Даруй мне, Господи, трезвенным умом и бодренным сердцем всю настоящего бытия ночь перейти...» «Ночь перейти, — бормотал и я про себя, ковыляя-хромая. — Вот именно, что перейти...»

А перейти её было непросто: уж очень был длинен и труден тот путь. Казалось, что время течёт по бредовому кругу, вливаясь само же в себя, повторяясь — как повторяются те коридоры и лестницы, по которым я брёл. Впервые в жизни я шёл, ставя целью преодолеть не пространство, а именно время: мне было нужно дойти — до рассвета. И, как случилось в походах сбиваться с пути и блуждать, потерявшись в пространстве? — так же точно, казалось, блуждал я во времени. Сколько я ни смотрел на часы, уже запрещаая себе этот частый нервический жест — время словно застыло, и утро не приближалось. «Может быть, я иду не туда, не в том временном направлении — может, я двигаюсь в прошлое?» — уже посещала меня диковатая мысль.

А прибавить сюда полусвет коридоров, вздохи и стоны больных по палатам да боль, что тащил я с собой, словно ношу, да прибавить усталость: уверен, что этот ночной переход вполне потянул бы на спортивную категорию сложности. Но главное было в другом: в той тоске, что сгушалась в душе. Казалось, что вся моя жизнь, в её прошлом и будущем — точно так же мутна, беспросветна, бессмысленна, как этот унылый и тягостный путь по ночным коридорам больницы...

Больничное утро — особое и драгоценное время. О том, что ночь пройдена, говорит ещё даже не утренний свет в тёмных окнах палат — о рассвете больным сообщают шаги, голоса медсестёр, разносящих термометры и начинающих делать уколы. Эти звонкие, столь долгожданные голоса — словно утренний крик петухов деревенскому жителю: они возвещают о том, что ночь, наконец, отступает.

И все, что казалось таким безнадёжным, мучительным, страшным — бледнеет, мельчает, теряет свою колдовскую угрюмую силу. Уж на что бы, казалось, для боли нет разницы, ночь на дворе или день? — но и та ощутимо слабеет к утру.

А мы, инвалидная наша команда — те из нас, разумеется, кто ещё может ходить — встречаем друг друга в дверях процедурного кабинета или у столика лаборантки особыми, радостно-солидарными взглядами: «Что ж, мол, друг, ещё одну ночь мы с тобой отстояли, отбились...» Есть, правда, потери и в наших рядах: вон, в конце коридора, каталка, и длинный белеющий свёрток на ней.

Но зато поступает к нам и пополнение: лифт из приёмного поднимает носилки с краснотлицей и тучной, натужно хрипящей старухой. С ней двое детей — или, может быть, внуков? — и санитарка громко кричит: «Эй вы, родственнички! Что ж вы стали, как пни? А ну, помогайте её перекладывать...»

С утра начинается наше лечение: уколы, капельницы, процедуры. Интересно и непривычно следить, как что-то делают с твоим телом: как его раскладывают по ку-

шетке, колют иглами, давят и мнут, то вливают в него растворы из разных флаконов и ампул, то прикладывают гальванические пластины и пропускают сквозь тело ток. Но в глубине напряжённого самосознания всегда живёт ощущение, что твоё тело — это не совсем ты. Нет, конечно, тебе оно близко, знакомо, оно неразлучно с тобой вот уж сорок два года; но ты чувствуешь, что твоё существо помещается где-то в другом, не поддающемся точному определению, месте. Эта суть, сердцевина — то самое, что называется «я», — конечно, зависит от тела, но всё же ведёт совершенно особую жизнь. Телу может быть плохо — его, скажем, мучают голод, усталость, а душе, как ни странно, в такие минуты бывает порой хорошо. Или тело, напротив, в порядке, оно сыто, одето-обуто, и в нём ничего не болит, но душа изнывает в тоске, беспокойстве, томлении или печали.

Вот лежишь на столе, массажистка уверенно мнёт твою поясницу — вот-вот, кажется, она разберёт тебя на отдельные мышцы и кости, — а ты чувствуешь, как телесные ощущения приходят к тебе всё-таки — со стороны. То, что гладит и давит, и мнёт массажистка — есть всё же не ты, а какое-то внешнее (с тобой, разумеется, связанное) существо.

Этот опыт болезни действительно важен, отраден. Ибо что столь же ярко, доходчиво может нам показать: мы не сводимся к телу — а значит, скорее всего, не кончаемся с ним? В этом старом, но вновь освежённом и поэтому как бы впервые открывшемся знании содержится столько надежды и утешения, что уже ради этого стоит всерьёз поболеть. И, как ни странно, но в дни болезни я был весел чаще, чем когда был здоровым. И это веселье приходило ко мне, несмотря на усталость и боль, и на множество разных житейских проблем, обострённых моим нездоровьем.

Больничная пища — особая тема. А уж в таком отделении, как неврология, где обычно лежат долго, неделями, обед становится чуть ли не главным событием суток. День делится на «до обеда», и «после обеда». Меню предстоящих кормлений — любимая тема разговоров больных. Буфетчица, раздающая суп или кашу — очень значимый здесь человек. Ну, ещё бы: она же кормилица, она заменяет для многих, лишённых неделями дома, — хозяйку.

Кастрюли и баки с едой поднимают на лифте. Сегодня нам всем повезло: по коридору, вместо привычного запаха хлорки или лекарств, разносится упоительный запах горохового супа.

Почему лишь в больнице гороховый суп так хорош? Никогда и нигде он не достигает той степени совершенства, как здесь. А больничный так густ, ароматен, что хочется есть, закрывая глаза и постанывая от наслаждения — ибо слов в языке не достанет, чтоб выразить всё восхищение кулинарным шедевром. Жаль, что тарелка пустеет стремительно — ложка уже подбирает последние кубики рыжей моркови и кольца варёного лука, — и ловишь себя на желании диком для взрослого человека: взять, да вылизать опустевшую эту тарелку!

Вот и говори после этого, что мы мало зависим от тела и, в частности, от желудка. Не одно, впрочем, тело радуется больничной еде: ждёт обеда и наша душа. В бесприютности голых больничных палат, коридоров и лестниц, в той казённой тоске, что всегда наполняет такие места, — очень важно бывает порой ощутить что-то тёплое, как бы домашнее, то, что утешит тебя и согреет живым ощущением дома. Больничная пища поэтому — символ уюта среди бесприютных и злых сквозняков, на которых так трудно больному...

Наевшись вкуснейшего супа, вздремнув, наконец, полчаса (еда — это лучшее из снотворных), я, поднабравшийся сил, продолжаю поход по больнице.

Сейчас, пока ещё день, путешествовать много приятней, чем ночью. И настрой у тебя совершенно другой, и боль днём слабее, да и встречаешь не только таких же, как ты, бедолаг, едва волочащихся по коридору, но и, например, молодых медсестёр.

Стараешься даже поменьше хромать: когда навстречу, стуча каблучками, в коротком халатике спешит местная фея. Красивые лица сестёр неприступно строги — я же, мол, на работе, мне некогда думать о пустяках! — но всё остальное — и запах духов, и тугое бедро в распахнувшемся снизу халате, и блеск юных глаз — говорит о другом. Тебя обдаёт словно ветром движения, юности, жизни — а следом сжимается сердце, поскольку вдруг чувствуешь, что тебя самого этот ветер навряд ли уже понесёт...

Тут вступает ещё одна тема: Эрос больницы. На первый взгляд, она кажется неуместной: о том ли, мол, думать, когда захворал? И разве в больнице возможны какие-то токи эротики?

Не только возможны, но нота эротики именно здесь, в этом доме страдания, скорби и смерти звучит с редкою силой.

И здесь нет кощунства. Здесь всё нормально — насколько нормально быть может болезнь, смерть, любовь. Не раз мне случалось услышать от разных людей, побывавших в критических ситуациях, что даже в палатах реанимации у них оставалось одно — не последнее ль в жизни? — желание: овладеть молодой медсестрой, что склонилась над ними.

Что это — бред умирающих? Или особое сладострастие смерти? Или груди сестры, что вот-вот, кажется, выпадут в вырез халата, — они излучают такую живую и мощную силу, пробуждают такое желание жить, что как будто зовут умирающего: «Не уходи! Вернись в жизнь — там, куда ты уходишь, такого не будет...» Эрос здесь как бы вступает в последнюю схватку с Танатосом — и, случается, богу любви удаётся вернуть человека, которого смерть уж считала своей добычей.

Это всё не фантазии и не досужие домыслы. Известно, что в лучших американских госпиталях, в отделениях кардиореанимации работают сёстрами, в основном, филиппинки — самые, может быть, сексапильные женщины в мире. И вот именно их сексапильность есть главный критерий в отборе на эту престижную и непростую работу. Американские кардиологи проверили и убедились: да, именно силы, которые будит Эрос, порой возвращают нас к жизни — и эти глубинные, тайные силы куда эффективней лекарств.

Есть и ещё объяснение феномену такого предсмертного сладострастия. Организм, предназначенный гибели, как бы старается, даже в самый последний момент, оставить какой-нибудь след по себе, сохраниться — хотя бы в потомстве. Тогда им, вот-вот отбывающим в нети, движет некий дух рода — дух, в котором, по убеждению Шопенгауэра, и заключается наша бытийная сущность. И биологи нам подтвердят: да, в природе, когда индивиды находятся в состоянии стресса — то есть, им угрожает опасность исчезнуть — тяга особей к совокуплению чаще всего возрастает, чтоб таким образом подстраховать популяцию от вымирания.

Так что связи Танатоса с Эросом очень сложны. То эти два божества откровенно враждуют, стремясь овладеть человеком всецело, то вдруг выступают в союзе. Порой даже кажется: стоит на сцену явиться Танатосу — тут же, как тень иль двойник, появляется Эрос.

Но и Танатос нередко сопутствует Эросу. Несомненно, что в стогах и хрипах оргазма, в содроганьях соития человек ощущает нечто потустороннее, смертное. Тот, кто исходит в конвульсиях «живейшего из наслаждений» (выражение Лоренса Стер-

на), пребывает, по сути, в агонии, в схватке с самим же собой. В этот длящийся миг он стремится исчезнуть, не быть — и, действительно, на какое-то время он почти исчезает...

Недаром то чувство тоски, оглушенности и пустоты, что медики именуют «*depressio post coitatum*», оно как бы нам говорит: да, ты умер, ты больше не нужен во всём этом мире, ты сделал своё и тебя как бы нет; то, что ещё продолжает дышать, шевелиться — всего лишь пустая твоя оболочка...

Далеко мы, однако, ушли от тарелки с гороховым супом. Но где, как не здесь, не в больнице, поговорить о серьёзных вещах.

Время шло, и маршруты мои становились длиннее: я уже выходил из больницы, совершая прогулки по городу. Сидеть мне по-прежнему было нельзя, лежать я мог очень недолгое время — так что только ходьба была более-менее сносным для меня состоянием.

Так много, как в нынешнем марте, я ещё никогда не ходил. Боялся за ноги: как они выдержат? Но от спортивного прошлого ещё оставался запас, и мышцы, суставы и связки ещё мало-мальски держали. «Ничего, — говорил я себе в утешение, — зато я теперь вроде киника: живу на ходу». О греческих школах киников и перипатетиков я знал очень мало — то, что последние, скажем, во главе с Аристотелем прогуливались вокруг храма Аполлона в Афинах и вели при этом разговоры о возвышенном, но всё равно, хоть и знал я немного, эти самые перипатетики-кинники мне очень нравились. Недаром и слово «цинник» — титул, которым так часто жалуют нас, докторов, — происходит всё от того же «кинника». Стало быть, в чём-то мы их наследники и продолжатели. Например, в том, что стараемся называть вещи своими именами — в этом ведь, кажется, и состоит наш врачебный цинизм?

И ещё мне нравился в киниках тот дух свободы, игры, парадокса, без которого задыхается мысль. Мысли, брошенные на ходу, ненароком — часто самые плодотворные мысли. Да и просто мне нравилось то, что греческие мудрецы добровольно выбрали тот образ жизни, к которому меня принуждала болезнь. «Терпи, малодушный, — говорил я себе, — вот приличные люди же были — и за счастье считали ходить. А что ноги гудят — это мелочи, к этому можно привыкнуть...»

Город был слякотен, сыр — как положено городу в марте. Но весенняя неопрятность его тротуаров и улиц, обычно так раздражающая — мне, истомившемуся в больнице, была даже мила. Капли влаги висели на сучьях обрезанных лип, на троллейбусных проводах, на козырьках ларьков, а лужи мерцали в павлиньих разводах бензина. Всё это, в сущности, было красиво — как было красиво и то, как подфарники тормозящих у светофоров машин отражались в оттаявшем, мокро-зернистом асфальте.

Интересно, что взгляд молодеет, когда тело уже неспособно перемещаться с прежней непринуждённостью: он словно старается компенсировать ограниченность передвижений в пространстве. Видишь то, мимо чего прошагал бы и не заметив — если б двигался так же, как раньше.

Это было похоже на лёгкое опьянение: когда люди, предметы, слова вдруг становятся глубже, значительней и интересней, чем они представлялись до этого. Словно прежде ты торопился по жизни, и запарка житейских дел не давала тебе отдышаться, прислушаться и оглядеться; а недуг придержал тебя: «Ну, куда ты торопишься, мил-человек? Ты остынь, оглядись — а то так и проскочишь по жизни, её-то саму не заметишь...»

Чаще всего я ходил к рынку: именно рынок, со всей гомонящей его суетой-пестротой, представлялся подобием целого мира — и наблюдать его было всего интереснее.

Рыночный мир включал в себя множество разных миров. Так, был мир обуви. Тут пахло кожей и клеем, и весеннее солнце горело в сиявших колодках бесчисленных туфель, ботинок, сапог. Покупатели примеряли обновы, становясь на картонки, лежавшие в мартовской сочной грязи — а наклонно стоящие на земле зеркала услужливо отражали их ноги, почему-то гораздо более длинные и красивые в зеркале, чем на самом деле.

Был мир дублёнок и шуб, и царивший здесь нафталиновый запах — чем-то грустный, всегда воскрешающий в памяти детство. Сезон зимней одежды кончался, и продавцы уж махнули рукой на торговлю: они собирались по двое-трое, пили водку из пластиковых стаканчиков и закусывали жареными пирожками. А вокруг колыхались от свежего ветра высоченные стены из шуб...

Джинсовые ряды были забавны тем, как молодые девицы примеряли тугие, в обтяжку, штаны. Они смешно оттопыривали перед зеркалами задки и так охлопывали, оглаживали их ладонями, как будто они в это время размышляли-мечтали уже не о джинсах, а вовсе о чём-то другом...

Любил я ходить и в скобяные ряды. Особый покой опускался на душу при виде всех этих свёрл, жестиных уголков, плашек, метчиков, гаек, гвоздей. Изобилие скобяного товара убеждало в том, что любую поломку или неполадку можно исправить, и по этому поводу нет особых причин волноваться. С поломкою тела, конечно, сложнее — тут шурупами-скобами не обойдёшься, — но всё же и тело, хотелось бы думать, ещё подлежит кой-какому ремонту. «Ничего-ничего, — думал я. — Что-то подтянем, где-то подмажем — ещё, глядишь, ноги походят...»

За ларьком, где приём стеклотары, слышался чей-то поющий, охрипший и низкий, уверенный голос. Сразу даже не скажешь, мужской или женский; даже увидев певца в длинном чёрном пальто, я не сразу сообразил, кто же он. «Всё-таки женщина», — решил я, присмотревшись. Это была, скорее всего, старая зечка, недавно вышедшая на свободу: её худое и жёсткое, бурого цвета лицо — лицо индейского вождя — пересекал грубый шрам, седые волосы выбивались из-под вязаной шапочки, а взгляд был направлен куда-то поверх тасовавшейся перед нею толпы.

Она пела самозабвенно, с надрывом. Кое-какие слова я запомнил, поразившись тому, сколь не вяжется нежно-любовная песня с грубым, как будто из жести и дерева, обликом старой певицы. Она пела:

Зачем бросал сирень-цветы

Ты мне в полночное окно?

И, хоть внешность её говорила иное — какие там полночные цветы? — но сердце верило всё-таки голосу, хриплому и настоящему. Верилось: да, были ночь и окно, и был тот, кто бросал гроздь сирени — была, словом, жизнь, от которой остались лишь песня да голос...

Главное в путешествии даже не то, как меняется мир, по которому странствуешь; главное то, как меняешься сам.

И вот когда я пытался осмыслить итоги последнего странствия — того, что устроила мне болезнь, — то оказалось, что это едва ли не самое важное путешествие изо всех, которые я совершал. Из прежних походов я не возвращался настолько другим, чем когда, отболев около месяца, вернулся к привычной мне жизни: то есть опять начал спать лёжа, сидеть и ходить на работу.

Но, пытаясь выразить, в чём же именно я стал другим, я вынужден прибегать к определениям противоположным. Скажем, я стал мягче и твёрже одновременно. Так,

я стал больше жалеть пациентов: ибо и сам побывал в этой тягостной роли. А уж личного опыта не заменит ничто — и врачу, как теперь я уверен, полезно порой поболеть самому.

А твёрдость, которой, я думаю, тоже прибавилось, проявляется в том, что теперь на невзгоды и тяготы жизни я стал смотреть с точки зрения проблем более серьёзных. Размеры житейских невзгод как-то сразу уменьшились рядом с болезнью. И жить, отболев, стало легче, как это ни странно.

Конечно, за месяц болезни я постарел. Когда вдруг из активного крепкого мужика, из любителя бега и лыж превращаешься ну, не то чтоб совсем в инвалида, но в человека с явно ограниченными физическими возможностями — это, конечно, несладко. Но, с другой стороны, я отчётливо чувствую, как за время болезни помолодел.

Так, я узнал, как же это, оказывается, непросто: всего-навсего делать шаги, переступать по земле. Совсем как младенец, который вот только-только начал ходить, я оценил и почувствовал счастье и, вместе с тем, невероятную сложность прямохождения.

Помолодел я и в том, что мне теперь стало всё интересным. Когда ходишь медленно, волей-неволей обращаешь свой взгляд и внимание на предметы ближайšie, самые обыкновенные — те, что раньше вовсе не замечал. Это тоже, по сути, особенность взгляда ребёнка — того, кто способен часами, без усталости разглядывать щепки, травинки, каких-то букашек и мух, с упоением рыться в каком-нибудь хламе. Недаром же говорит нам народная мудрость: «Молодость приходит с годами». Вот, похоже, она и пришла — вернее, болезнь привела её за руку.

Но ведь и окружающий мир изменился, пока я путешествовал вместе с болезнью. Это тоже, конечно, одно из чудес нашей жизни: как, отчего, в какой странной связи находятся перемены твоей, освежённой болезнью, души с переменами внешнего мира? Мир сделался ощутимо теплее, добрее и ближе. То есть ближе, добрее и лучше сделались люди — потому что у них появилась возможность и повод помочь, пожалеть. В том, что мир не без добрых людей, убеждаешься именно в дни, когда сильно хвораешь.

Всё, в общем, просто: болезнь, словно клич, созывает всех тех, кто готов и способен помочь. Поэтому в окружении заболевшего чаще всего возрастает количество добрых, хороших людей. Люди же прочие, те, кого наша болезнь и мы сами не очень-то интересуем, остаются поодаль. Вот и выходит, что мир в дни болезни становится лучше — настолько, что кое-кто из заболевших стремится продлить болезнь, ухаживает за ней, не желая опять оказаться в чужом, равнодушном к нему окружении.

Так что позитив у болезни огромен, и всякого рода хвала в её адрес ничуть не надуманна.

Не знаю, вполне завершилось ли это моё путешествие — большая нога ещё о себе напоминает, зато знаю, что по обилию впечатлений, по тем переменам, какие оно принесло, путешествие это является самым пока что значительным в жизни. Но, если даже оно завершилось или почти завершилось, всё равно нет причин горевать. Здоровья с годами, конечно же, не прибавляется — так что впереди, я уверен, ждут новые странствия.

